

© 1992 г., ЭО, № 4

В. Н. Б а с и л о в

ЭТНОГРАФИЯ: ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ БУДУЩЕЕ?

Обещанная лидером КПСС М. С. Горбачевым революция совершилась. Провозглашенный большевиками принцип самоопределения наций вплоть до отделения, наконец, последовательно проведен в жизнь. В разваленной стране разрушению подверглись все основы нормальной жизнедеятельности общества. Народ ввергнут в нищету, а чиновники упрекают обобранных государством граждан в «иждивенческих настроениях». Впервые в истории России вожди пошли по миру с протянутой рукой; газеты умиляются добрыми людьми, которые дают нам милостыню. Все перевернулось. Спекуляцию называют предпринимательством, слово «патриотизм» звучит как ругательство. Вожди делят армию и культуру. Безобидный призыв к дружбе народов сметен идеей этнической чистоты, возвращающей мир к дикости; льется кровь. На фоне всех этих событий какое значение для нашего общества имеют нелады с этнографией? И вместе с тем каждый должен продолжать делать свое дело. Этнография — часть культурного достояния страны. В судьбах этнографии отразились и наша недавняя история, и нынешний день. Неблагополучие в науке теснейшим образом связано с болезненными политическими и социальными процессами в стране, отнюдь не оздоровленными «перестройкой». Если верить, что этнография не обречена, что к ней может вернуться полнокровная жизнь, надо ясно показать причины упадка, чтобы попытаться остановить дальнейшее вырождение.

В статье о кризисе в этнографии¹ В. А. Тишков изложил свое понимание проблемы и щедро пригласил коллег к дискуссии. Да, разговор о судьбах нашей науки нужен. Внешние условия позволяли начать его уже лет пять назад, но у этнографов почему-то не обнаруживалось желания подвести итоги, определить новые задачи. Не вызвано ли молчание привычным, прочно усвоенным на уровне рефлекса и постоянно вновь подтверждаемым ощущением, что мы не в состоянии, как и годы назад, изменить к лучшему ход событий? Если так, то эта апатия, за которой скрывается скудость сил, наряду с другими признаками также есть показатель упадка.

Причины деградации представляются мне несколько иначе, чем В. А. Тишкову. Попытаюсь обосновать свою точку зрения.

Говоря об упадке этнографии, мы должны в первую очередь указать на условия, в которых отечественная наука оказалась в советский период. В. И. Козлов справедливо подчеркнул: «Очень важной причиной этого кризиса... было давление на этнографию, как и на другие общественные науки, марксистско-ленинской идеологии и аппарата ЦК КПСС, пытавшегося превратить ученых в покорных слуг»². Вряд ли найдется в нашей среде человек, который станет сейчас отрицать правоту этих слов. К аппарату ЦК КПСС надо добавить и целую армию разного рода и уровня надсмотрщиков, призванных следить за тем, чтобы в печать не проникло ничто, отклоняющееся от идеологических установок. Страх наказания усугублял рвение. Кто из нас не сталкивался с бдительностью, противоречащей элементарному здравому смыслу? Я получил первый урок при публикации одной из первых своих статей. У читателя может вызвать удивление фраза, в которой автор обещает сообщить «некоторые цифры»,

характеризующие состояние паломничества к озеру Светлояр; а цифр в ней нет: говорится лишь, что «за 20—21 сентября 1959 г. ... озеро посетили совсем немного верующих»³. Цифры были («20—25 человек»), но испугали даму-редактора, и она вычеркнула их уже в верстке, даже не известив автора. Много лет спустя В. П. Кобычев и я с большим увлечением писали статью об осетинском празднестве в честь святого Николы. Мы замыслили сопоставить наблюдения двух лет (1974 и 1975 гг.), чтобы показать, как ритуал прямо на наших глазах терял прежние формы. Редакция издательства обратилась к дирекции нашего института с требованием коренным образом переделать статью, ибо социалистический быт крестьянства изображен в ней в искаженном виде. Статью пришлось переписать, иначе она не была бы напечатана. Из опубликованного текста редактор вычеркнул даже указание на годы, когда авторы наблюдали праздник, справлявшийся в горном селении, где жило всего 11 семей⁴. Чем это угрожало торжеству единственно верного учения? Примеры такого рода может привести каждый, кто начал публиковаться в 1970-е годы или раньше. В результате у исследователей вырабатывалась привычка смотреть на свой собственный (даже еще не написанный) текст глазами цензора.

Этот мелочный надзор за творчеством ученого отнюдь не ограничивался анекдотическими придирками к отдельным фразам и вычеркиванием всего, что «не положено». Во многих случаях он выхолащивал само содержание научного исследования. Яркий, типичный пример такого рода дает наша наука. Цензура предельно суживала возможность выполнения одной из двух основных функций этнографии — изучения современности. С одной стороны, на необходимость исследовать процессы современности этнографам постоянно и требовательно указывали высокие чиновники. С другой стороны, ученые прекрасно знали, каких результатов от них ждут. Еще в 1950-е годы изучению современности энергично способствовал директор Института этнографии С. П. Толстов. Подготовленная под его непосредственным руководством серия «Народы мира» знакомит читателя и с традиционной культурой, и с современным образом жизни народов Земли. В конце 1950-х годов в Институте этнографии была создана Комплексная экспедиция для изучения новых прогрессивных явлений в жизни народов СССР. Экспедиционные отряды собирали материал о новом быте («ростках коммунизма») в разных частях страны. И все же дело не шло должным образом. Я помню одно из заседаний Ученого совета в начале 1960-х годов. Обсуждались задачи исследования современности. Л. И. Лавров заметил, что изучение сегодняшних форм быта продвигается очень медленно. Сидевший в президиуме С. П. Толстов почти закричал: «А вы работайте! Книги писать надо! Работать надо!» Он был прав и неправ. Прав в своем беспокойстве, что сотрудников не вдохновляет задача изучать нынешний день. Да, о современной жизни действительно следовало бы писать интересные книги. А неправ был С. П. Толстов в своем упреке Л. И. Лаврову. Л. И. Лавров лично совсем не заслуживал его, и — главное — не в трудолюбии было дело. Этнографы работали. В 1950—1960-е годы вышла в свет серия книг, которые мы в своей среде называли «колхозными монографиями»⁵. Одна из них — «Село Вирятино в прошлом и настоящем» — была переведена на английский язык. Как сегодня оценить эти книги? Думаю, они будут сохранять непреходящий интерес для исследователей народной жизни: в них добросовестно и умело показаны особенности сельского быта разных народов в конкретный исторический период. И в то же время воссозданная в «колхозных монографиях» картина крестьянской жизни неполна. Определенных сфер нельзя было касаться вообще, по ряду вопросов высказывать свое мнение не полагалось. Преимущество колхозного строя следовало ясно видеть и показывать читателю. И речи не могло быть о том, чтобы задуматься о действительной эффективности внедренного в деревне хозяйственного механизма, о судьбах народной культуры.

Невозможность проводить независимое исследование, необходимость ориентироваться на идеологические установки — вот чем объяснялись трудности в изучении современности. (В. И. Козлов справедливо отмечает, что этнографы,

пришедшие в науку ради самостоятельного творчества, находили себе отдушину в изысканиях, посвященных традиционной культуре народов мира).

С теми же трудностями встретился и Ю. В. Бромлей, ставший директором Института этнографии в 1965 г. и провозгласивший главным направлением научной деятельности советских этнографов изучение современности. В 1975 г. институтом была издана (во многом на основе материалов незаметно прекратившей свое существование Комплексной экспедиции) книга «Современные этнические процессы в СССР», в которой читатель отметит тот же неизбежный недостаток, что и в «колхозных монографиях»: картина неполна. Администрация Института этнографии, отчитываясь перед руководящими наукой чиновниками, из года в год оправдывала смысл деятельности коллектива ученых исследованием современности; в планы включались все новые и новые работы по этой теме. Тем не менее достижения в этой области оказались скромными. Иначе и не могло быть. Прокрустово ложе идеологии сковало развитие этого направления.

Была ли вообще этнография нужна Административно-Командной Системе? Правильнее всего сказать, что с ее существованием Система мирилась. Этнографию никогда не преследовали, как генетику или кибернетику. Важность этнографических знаний оправдывалась и книгой Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и именем гуманиста Н. Н. Миклухо-Маклая, и давней отечественной традицией, и возможностью противопоставить свою основанную на марксизме-ленинизме науку зарубежным теориям, которые были из-за буржуазной ограниченности неверны. Однако при этом существовала и почти объективная причина, по которой Система не могла воспользоваться потенциальным богатством этнографии, востребовать его и ввести в обращение как культурную ценность. Марксистская мысль считала довольно близкой и желательной перспективу стирания этнических различий между народами по мере утверждения классовой солидарности трудящихся. Идею слияния «в едином человеческом общежитие» на примере языка пропагандировал академик Н. Я. Марр, пытавшийся внедрить марксизм в языкознание; эта идея сказывалась и в этнографии, где вошло в обычай отмечать как положительный факт сближение разных народов страны. Свое концептуальное оформление она в конце концов получила в известном положении о новой исторической общности — советском народе. Не подвергая сомнению сам факт сближения народов, вызванный развитием современной цивилизации и жизнью в одной стране, я хочу лишь подчеркнуть, что в свете установки на слияние в новую общность сведения о разных этнических традициях у народов СССР представляли лишенными актуальности и практической пользы. Казенный марксизм с его нелюбовью к деревне и стремлением преобразовать жизнь народов, уничтожить прежний общественный строй, заменить религиозные взгляды научным мировоззрением, вообще не склонен был восхищаться культурным наследием минувших эпох. В нем многое виделось если и не классово чуждым, то обреченным на отмирание — как жировой светильник, вытесненный для блага людей лампочкой Ильича. Вот почему исследование традиционной культуры казалось научным и партийным чиновникам чем-то третьестепенным, наподобие архивного дела, далеким от насущных задач фронта идеологической борьбы и строительства социализма. Этнографы моего поколения хорошо помнят, как даже директору института Ю. В. Бромлею в течение многих лет приходилось доказывать важность работы по традиционной этнографии.

В этнографии было нечто, не вполне отвечающее идеологическим задачам Системы. Это «нечто» ускользало от четкого определения и как будто бы не мешало, но в отдельных своих проявлениях оказывалось откровенно неудобным. Так, в Средней Азии чиновников, представлявших «коренную» («титულную») национальность, раздражали упоминания о племенах и родах, ибо всем полагалось знать, что родоплеменное деление, пережиток прежней отсталости, уже изжито благодаря успешной работе партии по преобразованию быта. Я впервые столкнулся с этим в 1960-е годы, но и в конце 1980-х годов нашлись люди, заявлявшие,

что именно ученые-историки своим копанием в родословных способствовали расцвету родственных и земляческих связей в среде казахского чиновничества⁶. Итак, даже обращенная к обычаям прошлого, этнография порой весьма неловко напоминала о себе представителям Системы, которые не находили места национальным традициям в светлом будущем.

История и археология за годы существования Административно-Командной Системы подвергались такому же пристальному и мощному идеологическому контролю, как и этнография. Этот нажим пагубно сказался на деятельности общественных наук в целом, но не разрушил ни историю, ни археологию как науки. Иначе получилось с этнографией.

В царской России выходило множество популярных изданий, рассчитанных на самые широкие слои населения. Вот взятая почти наугад брошюра. Серия «Из народоведения. Чтение для народа». № 24: Негры. СПб., 1912. Издание четвертое. Текст не вызывает восторга: «Большая часть негров не носит никакой одежды, считая ее излишней; мужчины ходят совершенно голые... Тело свое они натирают жиром и никогда его не моют, ходят вечно покрытые грязью» и т. д. Но сама идея — знакомить народ с другими культурами и странами — достойна одобрения. Об этом думали, это считали полезным. Вся упомянутая серия брошюр была допущена Ученым Комитетом Министерства Народного Просвещения «в ученические библиотеки низших научных заведений и для публичных народных чтений». Общество нуждалось в этнографических сведениях. Во всех газетах и журналах Российской империи постоянно печатались заметки и статьи этнографического характера.

В советский период этнография оказалась фактически отторгнутой от общества. Название этой науки не встречалось в учебниках за все десять лет обучения в школе. Кинофильм о Н. Н. Миклухо-Маклае, пожалуй, был единственным прозвучавшим на всю страну рассказом о нашей профессии. Я помню, как однажды (1960-е годы) несколько молодых сотрудников Института этнографии, беседуя между собой, пришли к мысли, что из случайно встреченных на улице людей дай бог если один из десяти будет знать смысл слова «этнография». Это слово не встречалось вне профессиональной среды. А в тех редчайших случаях, когда его отваживались пустить в ход, под «этнографией» понималось нечто близкое к музейному делу. Вот фраза в мемуарах Л. И. Брежнева: «Важнейший вопрос о национальных традициях и самобытности нельзя упрощать, сводить лишь к этнографии и бытовизму: на Руси — к избам, хороводам и кокошникам, в Казахстане — к юртам и табуну лошадей»⁷. В этой брошенной мимоходом и свысока фразе ясно выражено пренебрежительное отношение к этнографии; читатель остается при впечатлении, что этнография упрощает, занимается «бытовизмом». Табун лошадей особенно ярко характеризует интересы науки. Автор мемуаров вложил в процитированную фразу не свое особое мнение, а мнение ходячее, распространенное, усвоенное многочисленным слоем получивших высшее образование людей. Нет ничего удивительного и в том, что талантливый артист, рассказывая о театре «Ромэн», пояснял: «У нас на сцене не только этнография, мы показываем и современную жизнь». В 1960-е годы моему другу, молодому туркменскому этнографу, один из его высоких начальников говорил: «Что это за наука — этнография? Моя бабушка лучше знает, как устроена юрта, чем ты». Уже в середине 1970-х годов Ю. В. Бромлей уговаривал меня изменить тему доклада, предложенную на зарубежную конференцию: «Возьмите что-нибудь другое, не шаманство. В Президиуме смеются, когда в документах видят слово „шаманство“».

При той незначительной роли, которую предоставили этнографии люди Системы, наша наука легко сделалась полем для губительных экспериментов. С начала 1970-х годов стало происходить последовательное разрушение этнографии. У науки с огромными познавательными возможностями отбирали ее функции, превращали ее в камерную дисциплину, отрицая ее способность ис-

следовать современные народы, утратившие или утрачивающие традиционный образ жизни.

Разрушение этнографии «изнутри» начал и успешно проводил академик Ю. В. Бромлей, занимавший пост директора Института этнографии с 1965 по 1989 гг. У нас есть полное основание связывать его деятельность с Системой, ибо феодальная структура Академии наук наделяла директоров институтов почти неограниченной властью. Перед чиновниками высшего ранга (Президиум АН СССР, райком КПСС, ЦК КПСС) директор представлял свой институт, но в институте он сам был представителем Системы. Хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о личности Ю. В. Бромлея. Он был незаурядным человеком, его деятельность на посту директора принесла Институту этнографии и немало хорошего. Речь идет о том, что властные полномочия, которыми одаривала директора Система, позволяли ему делать со своим институтом практически все, что он задумал. Другой человек в кресле директора мог бы вообще свести этнографию на нет, объявив, что она является лишь частью какой-то иной родственной дисциплины. При противодействии коллектива опытный администратор нашел бы способы убедить оппозицию в своей правоте.

Прежде чем стать директором, Ю. В. Бромлей занимал должность ученого секретаря Отделения истории АН СССР. Будучи историком-медиэвистом по профессиональной подготовке, он очутился в новом для него поле деятельности и искренне желал в нем освоиться: теперь от успехов института и науки в целом зависела и его личная карьера. Понимая, что этнография занимает отнюдь не ведущее место среди общественных наук, он прежде всего решил уяснить для себя, чем должна заниматься эта наука. Предмет и границы этнографии были, естественно, определены и задолго до него. Так, С. А. Токарев в своем прекрасном пособии для студентов писал: «В настоящее время среди советских ученых укрепилось широкое понимание задач этнографической науки. Этнография — по точному смыслу этого термина... — это наука, описывающая, или изучающая, народы. В область этнографического исследования входят все без исключения народы, как отсталые, так и наиболее передовые. Этнограф изучает не только ранние или пережиточные формы жизни народов, но и развитие и современные: не только их прошлое, но и настоящее. С другой стороны, этнограф интересуется не только ныне существующими народами, но и народами прошлого, в том числе исчезнувшими (историческая этнография как особое ответвление науки)»⁸. С. А. Токарев отмечал, что «прежде в русской литературе употреблялся также термин „народоведение“ — точный русский перевод слова „этнография“. Сейчас он почти не применяется»⁹. При этом С. А. Токарев с присущей ему добросовестностью предупреждал: «Этнография, т. е. изучение быта народов, — наука с очень широкими и неопределенными границами. О точном определении этих границ до сих пор спорят между собой сами этнографы»¹⁰.

Вступил в спор и Ю. В. Бромлей. Признание этнографии народоведением его не удовлетворило. Он настаивал на утверждении, что исчезновение многих черт традиционной культуры, которые изучала этнография, повлекло за собой в значительной степени и утрату прежнего объекта исследования. Что изучать этнографии в жизни индустриальных обществ? Как разграничить задачи этнографии и смежных с ней дисциплин? Эти вопросы отнюдь не были лишены смысла, хотя потребность разграничения мне представляется несколько надуманной. (Для исследователя в его работе важна задача. Задача определяет объем и характер привлекаемых к исследованию знаний. Нужные для понимания вопроса сведения нередко берутся из других, причем не обязательно смежных, наук. Этнография по своему существу не может обходиться только своими собственными данными. Так, занимаясь земледелием, этнограф обязан получить представление о свойствах почвы, климате, естественном периоде созревания растений. Изучая скотоводство, этнограф должен знать, сколько раз в день пьет овца, какую траву любит. Интересуясь общественным строем, этнограф привлекает демографические данные. Для рассмотрения разных проблем этнографу могут

понадобиться данные химии, психологии, медицины и т. д. Об этом писал и С. А. Токарев¹¹). Но как бы то ни было, вопросы были поставлены, и Ю. В. Бромлей дал на них ответ. По его мнению, этнография должна изучать те явления в жизни народов, в которых выражается этническая специфика: «При выборе этнографического угла зрения на тот или иной объект исследования главным ориентиром должно служить выполнение им этнических функций, т. е. его этническая специфика»¹². И хотя это утверждение сопровождалось разного рода оговорками, оно было определяющим в понимании Ю. В. Бромлеем задач и предмета этнографии.

Это открытие оказалось убийственным для этнографии. По логике Ю. В. Бромлея, во внешнем облике современного городского узбека этнографу предлагалось изучать лишь тубетейку. В жизни русского народа этнографа могли интересовать только элементы национальной пищи, обрывки фольклорной традиции, вологодские кружева и трудноуловимый психический склад. Короче говоря, этнографии было почти нечего делать в исследовании современности. А Институт этнографии торжественно объявлял своей основной целью изучение современных этнических (этнокультурных) процессов. И если этнографии это не положено, кому же по плечу такая задача?

Ю. В. Бромлей был уверен, что надежным инструментарием для исследования современности располагала социология. В Институте этнографии появился Сектор конкретных социологических исследований, вскоре переименованный в Сектор этносоциологии. В этносоциологии предлагалось видеть новую дисциплину, возникшую на стыке двух наук. Столичная мода быстро перекинулась на периферию, никто не хотел отставать от жизни. Группы этносоциологов появились в ряде университетов и республиканских академических институтов.

Решив для себя, что этнография не способна дать солидные научные результаты, Ю. В. Бромлей стал соответствующим образом направлять научную жизнь института. Этносоциологам была дана возможность развернуть ширококомасштабные работы в разных республиках страны. Этнографам из «отечественных» секторов настойчиво предлагалось проводить исследование современного состояния культуры и быта с применением социологического (этносоциологического) метода. Ю. В. Бромлей определил и другой путь обновления этнографии: его увлекла идея развития новых дисциплин в пограничных с этнографией сферах: этнолингвистики, этнопсихологии, этноэкономики, этноботаники и т. п. Он постоянно пытался выявить те направления, которые могли бы принести фундаментальные, теоретически значимые результаты. Многие годы он подчеркивал чрезвычайную теоретическую важность исследований в области первобытности (которые, добавлю от себя, не могли претендовать на первое место в этнографической проблематике). А в начале 1980-х годов он пришел к убеждению, что Институт этнографии должен сосредоточить свои силы на изучении этногенеза и этнической истории народов страны (опять добавлю, что и это направление, давно определившееся в советской науке, не является ведущим для этнографии). Эти внешне непосредовательные поиски приоритетных направлений даже в проблематике, далекой от исследования современности, исходили из убеждения Ю. В. Бромлея, что истинными ценностями в общественных науках являются не конкретные изыскания, а обобщения концептуального порядка, вносящие вклад в разработку теории.

В Институте этнографии был учрежден возглавляемый директором Отдел общих проблем. Сам Ю. В. Бромлей сосредоточился на разработке далекой от практических задач науки теории этноса, которая в период его руководства объявлялась одним из ведущих направлений в советской этнографии. Ставка на этносоциологию, мечты о гибридных дисциплинах, о достижениях в области теории — все это может быть правильно понято лишь в связи с общим отношением Ю. В. Бромлея к этнографии как к науке, от которой нельзя ожидать чего-либо серьезного. Похоже, что и само слово «этнография» уже казалось ему отжившим. В конце 1980-х годов он несколько раз, как бы невзначай, наблюдая за реакцией

сотрудников, говорил на Ученом совете, что где-то «в верхах» ему намекали на целесообразность переименования Института этнографии в Институт национальных отношений. Неудивительно, что в Институте этнографии стало быстро расти число сотрудников, которые не были этнографами ни по образованию, ни по характеру выполняемой работы. Тем самым этнография в буквальном смысле слова физически вытеснялась из института.

Сегодня нетрудно увидеть, что реформы Ю. В. Бромлея не принесли желанных плодов. Этносоциология не оправдала связанных с ней ожиданий. Декларации о пограничных дисциплинах остались словами. Более того, в годы Ю. В. Бромлея нарушились уже существовавшие связи. Прервалась традиция проводить отчетные экспедиционные сессии вместе с археологами. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Института этнографии фактически стала археологической. Этносоциология не только не заменила собой этнографию (что в принципе невозможно из-за ограниченности метода), но продолжала жить своим особым миром, не стремясь к действительному сотрудничеству даже в конкретных исследованиях. Например, монография о русских — одна из последних работ этносоциологов Института этнографии, создавалась без участия специалистов Сектора «Русские». Из структуры института исчезла группа фольклора. Группа религиоведения, как подчеркивалось на одном из Ученых советов в конце 1980-х годов, была далека от этнографической проблематики. Что касается теории этноса, то после ухода Ю. В. Бромлея с поста директора института интерес к ней угас. Единственным хорошо ощутимым итогом руководящей деятельности Ю. В. Бромлея оказался упадок этнографии, у которой в ходе экспериментов два десятилетия отнимались и предмет исследования, и молодые кадры, и жизненное пространство.

Следующий, то есть нынешний, пока еще очень короткий период, имеет немало внешнего своеобразия, но представляется мне продолжением «эры Бромлея» по существу. Здесь то же оттеснение этнографии на второстепенную роль описательной дисциплины, тот же курс на высокую теорию и на внедрение новых, пограничных дисциплин. Это делается во многом не так, как при Ю. В. Бромлее, с иными аргументами и словами, но суть процесса та же.

Уже после Ю. В. Бромлея произошло переименование Института этнографии в Институт этнологии, означающее отход от сложившихся в отечественной науке традиций. Это не просто смена названий, за потребностью в новом слове всегда стоит если не концепция, то позиция. Усиленное внедрение в последние два-три года термина «этнология» было неожиданным, этому новшеству не предшествовала дискуссия хотя бы на страницах журнала «Советская этнография». В самом слове «этнология» нет ничего дурного, и С. А. Токарев так разъяснял, почему его нет в отечественной терминологии: «В буржуазной науке делались и делаются попытки разграничить две науки: „этнографию“ как чисто описательную будто бы науку и „этнологию“ как науку обобщающую, изучающую закономерности жизни народов. Советские ученые решительно отвергают такое деление. С точки зрения марксизма-ленинизма, не может быть чисто описательной науки отдельно от науки о закономерностях. Описание неотделимо от анализа, объяснения, обобщения. Поэтому для нас „этнография“ и „этнология“ — два разных названия для одной и той же науки; но в советской литературе принято первое название, ибо термин „этнология“ является искусственным и ведет к неясности и двусмысленности»¹³. Оставим в стороне упоминания С. А. Токарева о буржуазной науке и марксизме-ленинизме, чтобы не отвлекаться от сути дела. А суть дела ясна даже просто с точки зрения здравого смысла: «не может быть чисто описательной науки отдельно от науки о закономерностях». Такую позицию принимали и авторы учебника для студентов высших учебных заведений, вышедшего в свет в 1982 г. (одним из авторов учебника был Ю. В. Бромлей)¹⁴. Да, хорошо известно, что ряд советских специалистов в 1920—1930-е годы предпочитал термин «этнология», но он не привился. И если говорить о корнях

традиции, то наука о народах в России в XIX в. возникла и развивалась как этнография.

Любопытно проследить, как обосновывает В. А. Тишков очередное насилие над понятием «этнография». «Во-первых, этнология и социально-культурная антропология в нашей стране уже существовали...»¹⁵. Но мало ли что существовало в 1920—1930-е годы, когда столько всего и отвергалось, и насаждалось. Не один год господствовало учение академика Н. Я. Марра о стадильности в развитии языка, и тот факт, что это учение было разгромлено И. В. Сталиным, совсем еще не означает, что его следует возвращать к жизни. Быть может, оно и достойно вновь занять свое место в науке, но для этого надо доказать его ценность. «Именно в 1930-е годы после марксистской чистки... этнографии было отведено жесткое место одной из исторических субдисциплин, и такой она остается поныне», — продолжает В. А. Тишков, подчеркивая, что современный облик этнологии и антропологии, в том числе (так!) физической антропологии, «определяет близость к таким... гуманитарным дисциплинам, как социология, лингвистика, демография, а также к ряду естественно-научных дисциплин, скажем, к биологии»¹⁶. Эти фразы звучат значительно, но неясно. В чем разница между этнологией и антропологией? (Упоминание о физической антропологии указывает, что В. А. Тишков здесь употребил термин «антропология» в его зарубежном понимании, как нечто более или менее эквивалентное этнографии.) Физическая антропология была всегда близка к этнографии (чтобы не запутаться в нововведениях, я применяю привычные и понятные термины) в том смысле, что ее данные учитывались этнографией, но физическая антропология никогда не входила «в число» общественных наук. Этнография и раньше тяготела к смежным дисциплинам (лингвистика, демография, фольклористика); допустим, что сегодня это тягстение резко возросло. Но что же хочет сказать автор по существу? Что вычлененное им из старого понятия «этнография» новое понятие «этнология» не следует теперь числить среди понятийного аппарата исторических дисциплин? Все это остается без разъяснения, а потому не имеет силы аргумента. Напомню читателю, что этнография в России для многих исследователей была отраслью исторической науки еще в прошлом веке, задолго до «марксистской чистки»¹⁷, при популярности эволюционистского направления иначе и быть не могло.

Но вот и обоснование нового (для отечественной науки) термина: «Самое главное: у этнологии и антропологии есть свой отчетливый предмет — это изучение народов и культур, их взаимодействий, анализ сложнейшего социального феномена — этничности...»¹⁸. Прочитав эти слова, надо прежде всего прийти в себя. Итак, у этнологии волею В. А. Тишкова обозначен «свой отчетливый предмет». Но ведь не десятки, а сотни достойных уважения предшественников, вдохновенно и плодотворно трудившихся на ниве этнографии, полагали, что изучение народов, их культур и проч. есть предмет этнографической науки. Как, оказывается, просто декларировать рождение новой сверхнауки! Нужно всего лишь изъять у уже существующей предмет исследования. На языке непопулярного нынче марксизма это называлось экспроприацией.

У этнологии и антропологии, продолжает В. А. Тишков, есть и «свой отличительный метод — это основанная на включенном наблюдении полевая работа и приемы анализа культурных явлений»¹⁹. И вновь остается лишь развести руками. Метод полевой работы «включенным наблюдением» (выражение, приписанное социологами; имсется в виду сбор сведений в непосредственном общении с людьми) до сих пор считался — да нет, был — достоянием этнографии. Сам В. А. Тишков в этой же статье объявляет этнографией «прежде всего то, что ученые делают в поле». Так как же можно делать вид, что у этнографии этого отличительного метода нет и приписывать его вновь конституируемой этнологии? Для начала надо было бы хотя бы сказать, что упоминание слова «этнография» в Российской империи и в СССР в течение полутора столетий было недоразумением, люди не знали, что пишут и говорят, — или что-нибудь в этом духе. Но нельзя

просто так, как если бы мы начинали заниматься изучением народов только сегодня на совершенно пустом месте, молча игнорировать то, на чем стояли наши предшественники. Терминологические преобразования в науке требуют тщательного разбора прежних мнений с разъяснением, чем они нехороши. Таким путем, по меньшей мере, демонстрируется уважение и к тем, кто был до нас, и к читающей публике. В. А. Тишков пренебрег хорошо известным правилом. Нормы научной дискуссии ныне необязательны? По мнению В. А. Тишкова, он предлагает «более широкое... определение дисциплины». Нет, более широкого определения не получилось. Просто то, что вчера называлось этнографией, сейчас объявлено этнологией.

Далее В. А. Тишков полагает, что слово «этнология» изменит к лучшему «недостаточно привлекательный имидж дисциплины и профессии» и поможет науке о народах выдержать конкуренцию с неожиданно появившимися за последние 2—3 года разного рода специалистами по межнациональным отношениям. И здесь нет серьезного довода. От конкуренции модное слово не оградит. Как сказал бы С. П. Толстов, работать надо. Только результаты научной работы могут придать науке должный вес и — «имидж».

Последний аргумент, который должен убедить читателя в преимуществах нового названия науки, — это важность «более полной интеграции советских ученых в мировое сообщество этнологов и антропологов», которому (сообществу) «свое понимание дисциплины и ее название... нам не навязать»²⁰. Что здесь сказать? Никому своего названия мы не навязывали. А для «более полной интеграции» недостаточно ходкого на Западе слова. Осмелюсь думать, что работы многих наших соотечественников известны зарубежной науке благодаря своему содержанию. Так будет и впредь. Как бы мы себя ни называли, сотрудничество на равных возможно лишь при условии, что мы интересны западным коллегам, — т. е. проводим действительно глубокое исследование и сохраняем традиции, обеспечившие наш вклад в мировую науку. А вклад этот сделан и признан учеными других стран²¹. Что касается упомянутого В. А. Тишковым «изоляционизма» относительно мировой науки (который, действительно, имеет место), он преодолевается не сменой вывески. В незнании наших работ повинны и сами зарубежные коллеги: недостаточно любознательны. Я не раз убеждался, что делающий полезное дело журнал «Soviet Archaeology and Anthropology» неизвестен многим ученым даже в США, где он издается.

Итак, энтузиазм В. А. Тишкова, связанный с внедрением термина «этнология», не покоится на веских и убедительных доводах по существу дела. Трудно отделаться от впечатления, что переименование науки вызвано прежде всего «желанием подстроиться под западные стандарты»²². Не случайно и отчеты сотрудников о состоянии межнациональных отношений проходят под новой рубрикой «неотложная этнология». Эти отчеты не претендуют на высокую теорию и представляют, если исходить из логики В. А. Тишкова, конечно же, описательную, полевую этнографию. Однако в ход пошло «модернизированное» слово.

Становится жалко китайцев и японцев. Они теперь дальше нас от мирового сообщества ученых. Они не спешат ввести современную терминологию и по-прежнему называют народоведение (науку о народах) своими собственными словами — «минцзусую», «миндзокугаку».

Было бы много проще, если бы В. А. Тишков всего лишь призвал впредь именовать этнографию этнологией. Нравится это или нет — это, по крайней мере, ясно. И этнография выглядела бы обобранной, но сохранившей честь. Но В. А. Тишков, вводя новое название, счел возможным сохранить и старое, придав ему иной смысл. Позиция Ю. В. Бромлея, уже лишившего понятие «этнография» прежнего содержания, не показалась ему убедительной: даже в ее оскопленном виде (изучение этнически специфического) этнографии оставалось право на теоретические обобщения. В. А. Тишков пошел дальше Ю. В. Бромлея: он отстраняет этнографию от теоретических поисков и предоставляет ей подсобную роль. Читаем: «Я рассматриваю этнографию как цеховую основу дисциплины,

как метод собирания знания и важнейшую форму его текстуализации. Этнография — это прежде всего то, что ученый делает в поле»²³. Теория — для этнологии.

Мы можем с удивлением отметить, что слова С. А. Токарева о неправомерности отделять описательную область от теоретической В. А. Тишковым почему-то не взяты в расчет. В. А. Тишков даже не объявляет точку зрения С. А. Токарева неверной, не спорит с ним, хотя это следует сделать в случае, когда вводятся понятия или идеи, предлагающие отказаться от мнений, еще вчера общепризнанных. В. А. Тишков просто не замечает позиции предшественников — не для того ли, чтобы избежать проигрышного спора? Ведь рассуждения С. А. Токарева совершенно справедливы. Не думаю, что С. А. Токарев нуждался бы в моей поддержке, но сошлюсь и на свой опыт. Будучи «полевым» этнографом, собирая этнографические сведения в течение свыше тридцати лет, я хорошо прочувствовал, сколь неразрывно собирательская работа связана с теоретической подготовленностью этнографа. Качество полевой работы, умение увидеть то или иное явление в народной жизни напрямую зависят от концепции, для разработки которой собирается фактический материал. И наоборот: теория приобретает глубину и прочность только в случае, если она естественно вырастает из конкретных данных. Сбор и осмысление материала — это неотделимые друг от друга стадии научной работы, порой они протекают одновременно, порой одна опережает другую. Существует немало наук, в рамках которых ведутся полевые изыскания — археология, геология, география, ботаника и т. д., — но в этих науках экспедиционная деятельность никогда не объявлялась особой субдисциплиной.

Термин «этнология», по мнению В. А. Тишкова, указывает на теоретическую направленность науки. Помещенное в название института, университетских кафедр, научно-исследовательских групп, это слово означает заявку на предпочтительную разработку теоретических тем. Сумеет ли наука о народах оправдать эту заявку?

Нужду в названии «этнология» можно было бы признать, если бы этнографию буквально распирало от обилия концепций, теорий, школ. Но этого нет. Читатель помнит, что и Ю. В. Бромлей не сумел добиться на теоретическом фронте заметных побед, хотя руководящие сановники постоянно указывали на необходимость изживать «мелкотемье» и разрабатывать фундаментальную науку. Руководителям всегда было трудно понять, что по-настоящему капитальные труды не создаются за два—три года, что теории созревают в итоге большой и долгой кропотливой работы по осмыслению конкретного материала. Ждут ли нас в ближайшие годы теоретические успехи? Не похоже. Сейчас хорошо бы собраться с мыслями, осмотреться. Еще вчера у отечественной этнографии была незыблемая методология — марксизм-ленинизм, которая хорошо ли, плохо ли, но во многом определяла теоретическую основу этнографии. Сегодня мы этой основы не ощущаем. Я согласен с В. И. Козловым в том, что от отдельных положений марксизма не следует спешить отказываться, ибо они оправдали себя и — ныне этот довод имеет особую силу — даже за рубежом приобрели признание в научной среде. Однако ряд постулатов марксизма достоин полного забвения (я отсылаю читателя к публикациям, в которых специально рассматривается этот вопрос²⁴). Нам еще предстоит разобраться, нанес ли марксизм действительный урон советской этнографии, ибо следует отличать научную теорию марксизма от официальной идеологии советской Административно-Командной Системы. Что заступит теперь на место марксизма? Сублимированное либидо З. Фрейда? Бинарные оппозиции К. Леви-Строса? «Современный доброкачественный релятивизм» с убеждением, которое, как я понял, В. А. Тишков разделяет, что «этнос... есть умственные конструкции..., т. е. они существуют исключительно в умах историков, социологов, этнографов»?²⁵ Теория пассионарности Л. Н. Гумилева? Очевидно, разные группы ученых определяют свои позиции, и маршировать единым строем мы не будем. Но чтобы теоретические установки выявились и утвердились, требуется некоторое время.

Позволю себе высказать и соображение, с которым далеко не все согласятся. На мой взгляд, этнография, очень конкретная наука, не даст желаемых ростков такой теории, которая, отрешенная от фактического материала, могла бы существовать как особая, несколько автономная сфера науки («этнология»). Теоретическое богатство этнографии состоит в комментариях к конкретным явлениям, общие же закономерности, вытекающие из всего богатства разнообразных культур народов мира, в большинстве своем укладываются в рамки концепций, которые принадлежат всей исторической науке в целом. Теоретический труд в этнографии — это прежде всего рассмотрение фактического материала. Таким трудом, причем одним из лучших среди изданных в советский период, я считаю книгу А. М. Золотарева «Родовой строй и первобытная мифология» (М., 1964). Теоретические выводы автора здесь вполне укладываются в одну-две страницы, все остальное — конкретные данные.

Весь предшествующий, свыше столетия, период существования нашей науки отмечен рождением то одной, то другой теории или школы и довольно быстрым уходом ее со сцены. Они отнюдь не были бесполезны для развития научной мысли и зачастую удачно оттеняли какой-то аспект исследовательской работы, но организующей концепцией или вссобиравшей теорией не стали. А ведь тогда постоянно появлялся принципиально новый фактический материал. Что сегодня может вдохновить нас на качественно новые обобщения? «Неотложная этнология»? Этническая политология? Уже увидевшие свет публикации в этом жанре не подают больших надежд. Они любопытны, но по уровню не выше газетных статей на те же темы. Совершенно справедлив вопрос, высказанный в связи с одной из них: на кого рассчитана эта публикация? ²⁶ Кстати сказать, зарубежная этнополология, на мой взгляд, также не достигла больших высот. Итак, провозглашенный курс на развитие теории не исходит из реального положения дел в нашей науке. Большой теории в ближайшие годы не предвидится.

А что предвидится? С внедрением названия «этнология» этнография будет все дальше отодвигаться на задний план. Персименование удобно для большого числа специалистов, которые, работая в научно-исследовательских институтах и университетах, заняты изучением разного рода этнических процессов и проблем, не опираясь на серьезное знание культуры народов, на методы этнографии. Они понимают, что они не этнографы. Кто же? Теперь — этнологи. Отныне мы административной волей делимся на эмпириков и теоретиков, причем специалист, изучающий жизнь народа «в поле», есть эмпирик, а потому своего рода подсобный рабочий для тех, кто творит теорию в кабинетах.

В. А. Тишков, очевидно, осознает, что устанавливаемое им разграничение специалистов на мыслителей и собирателей принижает значение профессии этнографа. Быть может, стремлением как-то сгладить допущенную неловкость можно объяснить присутствие в его статье раздела, посвященного вопросам улучшения полевой работы.

Поговорить о полевых исследованиях полезно. Однако сам факт, что руководитель большого исследовательского коллектива учит этнографов тому, как надо собирать полевой материал, — печальный признак неблагополучия в нашей науке. Еще лет десять назад Ю. В. Бромлею в голову не пришло бы публично излагать предложения на эту тему. И дело здесь не в личной смелости руководителя, а в изменяющемся составе сотрудников. Лет десять назад этнографов было в институте больше, чем сегодня. А сейчас процесс замены этнографии сопутствующими направлениями зашел так далеко, что и в бывшем Институте этнографии, и в других учреждениях, где есть коллективы этнографов, неуклонно растет число людей, не имеющих ясного представления о правилах полевой работы, — «говорливой армии специалистов по межнациональным отношениям, этническим конфликтам и т. п.» (пользуюсь удачным выражением В. А. Тишкова) ²⁷.

В. А. Тишков справедливо говорит о необходимости глубже внедрять полевую работу и в подготовку научной молодежи и в исследовательскую практику

сложившихся специалистов. Это — азбука для этнографов и отнюдь не забытая. Каждому, кто работал и продолжает работать «в поле», позиция В. А. Тишкова будет близка. При этом у В. А. Тишкова есть и конкретное предложение: ввести в обычай «как обязательный элемент профессионализации длительную полевую работу (6 месяцев университетского обучения и не менее года для кандидатской диссертации)»²⁸. Читатель может найти, что оно не в полной мере конкретно. Что такое «длительная полевая работа»? Непрерывное пребывание среди изучаемой группы людей или же общий, суммарный стаж нахождения «в поле» с перерывами? Фраза «...в мировой антропологии считается нормой полевая работа в общине или группе продолжительностью не менее годового цикла»²⁹ также не вносит ясность. А ясность нужна. Если речь идет о суммарном (в целом) сроке пребывания «в поле», предусматривающем длительные перерывы, в предложении В. А. Тишкова нет ничего нового. За два месяца даже на хорошую дипломную работу материала не собрать. Практически так и получается, что для подготовки кандидатской диссертации аспирант проводит «в поле» в общем итоге не менее года (если, конечно, его тема не связана с исследованием первобытности или подобными проблемами). Есть, однако, все основания полагать, что В. А. Тишков, следуя стандартам зарубежной науки, имеет в виду именно непрерывный полугодовой или годовой срок. Если так, то было бы лучше поговорить о другом.

На мой взгляд, для обеспечения высоких результатов полевых работ в принципе важнее не длительность полевого сезона, а подготовленность исследователя к полевой страде. «Знает не тот, кто много жил, а тот, кто много видел» (туркменская поговорка). Как научить этнографа видеть, слышать, узнавать? Об этом и должен быть разговор. Я был знаком с аспиранткой кафедры антропологии Кембриджского университета, которая на длительный срок поехала в Тибет и жила в крошечной деревне под Ладакхом, не зная языка. Естественно, ее наблюдения не были столь глубокими, как хотелось бы и ей самой. Главное в подготовке этнографа к работе «в поле» — это овладение языком того народа, культуру которого этнограф собирается изучать. Неловко напоминать эту истину — элементарную, как первичные гигиенические навыки, — но сегодня она в нашей этнографической среде забыта гораздо прочнее, чем традиция полевых стационаров. Пренебрежение языком имеет давние корни. Я окончил кафедру этнографии Московского университета в 1959 г.; на кафедре студентам-этнографам не объясняли, что без знания языка настоящий специалист не состоится. В 1959 г. я начал работать в Институте этнографии АН СССР. И здесь никто не требовал от сотрудников обязательного владения языком. В коллективе были сотрудники, хорошо освоившие язык, однако овладение языком не было (и сейчас не является) непреложным условием профессиональной работы. А ведь именно благодаря прекрасному знанию языков Г. М. Василевич, Е. М. Пещерова, А. А. Попов, О. А. Сухарева и многие, многие другие стали учеными мирового уровня. Е. Д. Прокофьеву селькупский шаман даже принял за соплеменницу и хотел передать ей своих духов-помощников. Язык (продолжу излагать прописные истины) — это не только средство общения с информаторами, это важнейший элемент культуры, душа культуры, в нем отражены все особенности мирозерцания народа.

И если этнограф знает язык, длительность его пребывания среди изучаемой им группы людей уже не имеет первостепенного значения. «В поле» можно быть столько, сколько нужно для конкретно поставленной задачи. Конечно, для солидного исследования и года общего срока работ мало. Целесообразно наблюдать жизнь народа в разные сезоны. Но непрерывное пребывание «в поле» даже в течение полугода не представляется мне полезным. Дело здесь не в бытовых неудобствах. Я считаю долгий непрерывный срок непродуктивным по чисто профессиональным причинам. По истечении двух-трех месяцев (срок зависит и от личных качеств исследователя, и от условий работы) внимание притупляется, снижается способность увидеть. Главное, за этот срок накапливается столько собранных сведений, что в них надо разобраться. Память уже не владеет всем, что записано в тетради; теперь нужно спокойно рассортировать и продумать

полученный материал, выделить, что осталось неясным, нуждается в перепроверке, в дополнении. «В поле» эту работу не провести.

В ходе полевых работ специалист всегда совершенствует свое знание языка, открывает для себя все новые его тонкости. Но к полевым работам нельзя относиться как к возможности «выучить язык народа». Для полноценной полевой работы даже начинающий этнограф должен уже освоить язык. Думаю, что здесь можно не обсуждать, каким образом кафедры этнографии (этнологии и проч.) сумели бы ввести изучение языка в обязательную практику подготовки студентов; все это не столь уж сложно.

Знание языка — лучшее лекарство от сомнений в достоверности собранного этнографами материала. В. А. Тишков с явным сочувствием цитирует К. Гирца, который своими довольно туманными рассуждениями хочет внушить читателю настороженность по отношению к описаниям этнографов³⁰. Если К. Гирц имеет в виду те случаи, когда исследователь пытается увидеть в культуре народа то, что сам народ не видит (как это делает, например, К. Леви-Строс), сомнение понятно. Но если речь идет не об «анализе» культуры, а о ее описании, недоверие К. Гирца напрасно. Зная язык, этнограф на самом деле способен понять другую культуру. Характерно, что такие сомнения не высказывались в отечественной этнографии: она всегда была основана на полевой работе, и сама жизнь подтверждала, что этнограф правильно понял увиденное и услышанное.

Завершая рассмотрение мыслей, высказанных В. А. Тишковым в связи с полевой работой, нельзя пройти мимо замечания, которое, думаю, удивило не только меня. На территории бывшего СССР, предупреждает В. А. Тишков, вскоре будут вести полевые изыскания зарубежные специалисты. Они обладают средствами, внешними контактами и «умеют вести себя деликатно и отплачивать взаимным гостеприимством. В этой ситуации прощавшиеся ранее черты поведения „старшего брата“ и опостылевшего русскоязычного официоза, носителями которого волей-неволей были столичные ученые, сразу же будут высвечиваться...»³¹. В. А. Тишков, как показывает статья, ориентирован на зарубежный опыт. Это его право, тем более что вплоть до недавнего времени к чужому опыту у нас не было должного внимания. Но, признавая высокие профессиональные возможности зарубежных этнографов, не следует унижать своих коллег. На чем основано убеждение В. А. Тишкова, что этнографы из Москвы и Санкт-Петербурга не умеют вести себя деликатно и возвращать гостеприимство? И если какие-то случаи высокомерного поведения ему известны, почему позволил он себе распространить осуждающую оценку на всех? Автору изменило чувство меры. Эти слова, сказанные поспешно, вскользь, непроверенные и несправедливые, в особенности неуместны в сегодняшней сложной обстановке. Они не послужат на пользу делу.

Эффектно брошенная фраза о комплексе «старшего брата» годится, быть может, для митинговой речи, но не для строгого критического анализа прошлого. В. А. Тишков пытается перенести расстановку сил Командно-Административной Системы на научную среду, которая жила по иным законам. В нашей среде было нормальное дружеское сотрудничество ученых, работавших в разных городах, но объединенных общими интересами. Этнографы Москвы и Санкт-Петербурга (не чиновники, а этнографы, знающие, что такое быть «в поле») умеют оказывать гостеприимство и принимать у себя дома своих информаторов, их родственников и друзей. Они умеют благодарить за хлеб-соль народ, с которым соединили свою судьбу, и другими путями — прежде всего, оказанием разного рода помощи в работе своим коллегам из республик. В течение десятилетий в Москве и Ленинграде, где сложились наиболее сильные коллективы специалистов, проходила подготовка молодых ученых из республик. В 1970—1980-е годы в аспирантуре Института этнографии обучались в основном национальные кадры. Стоит ли напоминать, что аспиранты неизменно встречали теплое человеческое участие и профессиональную помощь? «Старший брат» немало сделал для того, чтобы

в республиках выросли свои коллективы этнографов, и с чувством удовлетворения помнит об этом.

* * *

В своей статье В. А. Тишков выразил убеждение, что «у советской этнологии и антропологии... есть будущее»³². Этнография здесь не упомянута (а этнография и этнология, по В. А. Тишкову, как мы помним, — не одно и то же). Значит, веры в светлое будущее этнографии у автора нет? Если так, то удивляться нечему. За последние двадцать с лишним лет предприняты незаурядные усилия для того, чтобы обескровить нашу науку, и даже если завтра лихому времени придет конец, раны скоро не залечить.

Чтобы вернуть к жизни обреченную на разрушение науку о народах, надо в первую очередь признать недопустимыми упражнения с понятием «этнография». До тех пор, пока понимание предмета и содержания науки будет, как и годы назад, навязываться руководящими указаниями, метания из стороны в сторону будут продолжаться. Нельзя исключать, что следующий административный глава объявит, что и этнологии нет, а есть лишь одна, скажем, социальная антропология. И вновь за новым словом будет стоять не действительное новшество, заявившее о себе благодаря развитию науки, а перелицовка старого в угоду моде.

Нормальная жизнь науки возможна лишь при условии, что ясно определен ее предмет. В. А. Тишкову не надо ждать, когда критики его инициативы «модернизации названия... выполнят свое обещание разъяснить, что есть этнография»³³. Это уже было сделано десятилетия назад. За традиционным пониманием этнографии как народоведения стоит более чем вековой опыт отечественной науки. И упадок нашей этнографии начался тогда, когда Ю. В. Бромлей этой традицией пренебрег. Было бы полезно усвоить этот урок. «Модернизация» В. А. Тишкова открыла широкий простор для разнобоя в понимании предмета науки и привычных терминов. Теперь, встретив в печати слово «этнография», надо соображать, какой смысл вложен в это название: традиционный, по С. А. Токареву и С. П. Толстову, оскопленный, по Ю. В. Бромлею, или «модернизированный», по В. А. Тишкову? Кое-кто уже, не дожидаясь печатного обоснования «модернизации», пылко подхватил инициативу и поспешил переименовать этнографическую кафедру или группу и влиться в мировое сообщество. Но далеко не все согласны с рассуждениями В. А. Тишкова. Будем говорить на разных языках? Естественно, наука развивается и, приобретая новое, утрачивает некоторые традиции. Возможна и целесообразна перестройка понятийного аппарата, когда этого требует нужда исследования. Но преобразования в науке делаются не административными усилиями и не ради преобразований («перемены в науке есть условие ее развития...»³⁴).

Повторю: моя позиция в том, чтобы сохранить традиционное понимание этнографии как народоведения, которое изучает и прошлую, и современную жизнь народов (этносов). Эту концепцию не следует «модернизировать» ни словами, ни переосмыслениями. Думаю, что я выражаю не приверженность консерватора привычному укладу, а исхожу из сути дела. Ю. В. Бромлей, отказавшись от этой концепции, лишил себя опоры, позволяющей безошибочно отделять главное от второстепенного, и потому придавал такое большое значение «пограничным» дисциплинам. Похоже, что и сегодня побочные, не ключевые интересы этнографии неоправданно выступают на передний план. Я имею в виду увлечение политологией. От политики нашей науке никуда не деться. Как можно было убедиться и на событиях последних лет, политические перемены способны в короткий срок существенно изменить жизнь народов. Политическую обстановку в стране этнограф обязан хорошо знать, но не превращать изучение ее в самоцель. Главное для этнографии — изучение жизни народа. Отдельные аспекты этой общей цели и частные задачи могут быть определены в ходе дискуссий и исследовательской работы.

- ¹ Тишков В. А. Советская этнография: преодоление кризиса//Этнографическое обозрение. 1992.
- № 1. ² Козлов В. И. Между этнографией, этнологией и жизнью//Этнографическое обозрение. 1992.
- № 3. С. 7—8.
- ³ Басилов В. Н. О происхождении культа невидимого града Китежа (монастыря) у озера Светлояр//Вопросы истории религии и атеизма. Вып. XII. М., 1964. С. 163.
- ⁴ Басилов В. Н., Кобычев В. П. Николайи кувд (осетинское празднество в честь патрона селения)//Кавказский этнографический сборник. VI. М., 1976.
- ⁵ Эти работы перечислены в книге: Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 245.
- ⁶ Жандосов Ж. Рассудку вопреки//Правда, 27 июня 1988 г.
- ⁷ Брежнев Л. И. Целина. М., 1978. С. 56.
- ⁸ Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. С. 7—8.
- ⁹ Там же. С. 8.
- ¹⁰ Там же. С. 4.
- ¹¹ Там же. С. 8.
- ¹² Бромлей Ю. В. Этнографическое изучение народов//История СССР. 1972 № 6. С. 62; *его же*. Этнос и этнография. С. 212 и др.
- ¹³ Токарев С. А. Указ. раб. С. 8.
- ¹⁴ Основы этнографии. Под ред. С. А. Токарева. М., 1968. С. 5; Этнография. Под ред. Ю. В. Бромлея и Г. Е. Маркова. М., 1982. С. 4—5.
- ¹⁵ Тишков В. А. Указ. раб. С. 8.
- ¹⁶ Там же.
- ¹⁷ См., например: Толстов С. П. Дмитрий Николаевич Анучин — этнограф//Труды Ин-та этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. I. Памяти Д. Н. Анучина (1843—1923). М.; Л., 1947.
- ¹⁸ Тишков В. А. Указ. раб. С. 8—9.
- ¹⁹ Там же. С. 8.
- ²⁰ Там же. С. 9.
- ²¹ См., например: Gellner E. The Soviet and the Sanage//Current Anthropology. V. 16. № 4. December 1975.
- ²² Тишков В. А. Указ. раб. С. 8.
- ²³ Там же. С. 10.
- ²⁴ См., например: Буртин Ю. Ахиллессова пята исторической теории Маркса//Октябрь, 1989.
- № 11. ¹² Тишков В. А. Указ. раб. С. 7.
- ¹⁶ Мелянас И. По поводу статьи Ю. В. Бромлея, С. В. Чешко «О новой Конституции СССР»/Сов. этнография. 1991. № 6. С. 86.
- ²⁷ Тишков В. А. Указ. раб. С. 9.
- ²⁸ Там же. С. 11.
- ²⁹ Там же. С. 10.
- ³⁰ Там же. С. 6.
- ³¹ Там же. С. 15.
- ³² Там же. С. 10.
- ³³ Там же.
- ³⁴ Там же. С. 6.

Ethnography: does it have a future?

The author tries to prove that Russian ethnography is now in decay. In the Soviet period ideological censorship blocked the study of modern life in the USSR, and both problems and subject of the science were determined by administrators. For instance, Yu. V. Bromley insisted on confining research to ethnically specific cultural traits, industrial society being the domain of sociology. Thus ethnography lost one of its most important and original functions — studying modern ways of living. The trend to name the field «ethnology» instead of «ethnography», understanding ethnography only as a collecting descriptive materials cannot ensure the normal development of the science. It artificially separates two integrated elements of cognition pretending to establish a new theoretical science, isolated from concrete facts.

V. N. Basilov